

Алексей Макушинский

Прицип подлинности.

О книге Алексея Машевского «В поисках реальности» (СПб.: Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2008, 432 стр.)

1.

Редчайшее, почти забытое чувство значительной современной книги. Вот сейчас, на твоих глазах, вот в этом году появилась – значительная книга. Как тут не обрадоваться? И как не засесть, едва дочитав, за рецензию.

2.

А между тем, торопиться здесь не следует. Эта книга – одна из тех, которые надо перечитывать, в которые надо вчитываться.

3.

Не просто книга, но – КНИГА. То есть не просто собрание каких-то статей и фрагментов, но книга, как, пускай предварительный, итог жизни, ее квинтэссенция, как некая «сумма». «Мир существует, чтобы превратиться в книгу», утверждал Малларме. Так это или не так, но для писателя – поскольку можно говорить о «писателе» в единственном числе – мир существует, конечно же, именно для этого, для превращения в книгу, или в несколько книг. Мечта о книге владеет им, о такой книге, в которую если уж не мир вообще, то *его* мир, его жизнь, волшебным образом превратится, в которой она сохранится и пребудет, в которой – спасется. Книга есть избавление от тягот случайной жизни, переходящего существования, обретение бытия подлинного и полного, сгусток реальности, преображение действительности. Ясно, что такой КНИГИ не может быть, но есть намеки на нее, но есть подступы к ней. Книжки на свете разные и авторы у них разные, но кто знает, может быть каждый и каждая, на свой лад, пытается дорасти, дотянуться, *дописаться* до какой-то последней, невозможной, окончательной книги, после которой уж, наверное, наступит что-то «совсем иное».

4.

Здесь собраны статьи, заметки, дневниковые записи. Кое-что, кажется – не очень многое, раньше уже печаталось. Это раньше печатавшееся выглядит здесь по-другому. Удавшаяся книга («КНИГА») – тигель, в котором разнородные элементы образуют новый, до сих пор не существовавший сплав.

5.

Это не столько мысли, сколько – процесс мышления. «Настоящая книга – попытка поделить опытом думания...» (стр. 5). Процесс здесь важнее, чем результат. Поэтому неизбежны повторения, возвращения, уточнения, противоречия. Свойства живой мысли сохраняются на бумаге.

6.

Прообраз – эссе и дневниковые записи Лидии Гинзбург. Автор ссылается на нее уже в первых строках предисловия и затем обращается к ней неоднократно. Преемство осознанное и программное: «Лидии Яковлевны нет, а мы идем по тому же самому

курсу, лишь отчасти переживая и понимая то, что было уже пережито и понято» (стр. 241).

7.

Основная категория – подлинность. Собственно, книга могла бы называться не «В поисках реальности», но «В поисках подлинности». Впрочем, это одно и то же. Подлинное – реально, бытийственно. Неподлинное – не совсем реально, *есть* лишь отчасти, как бы есть, а как бы его и нету.

8.

С удовольствием выписываю из «Записных книжек» Лидии Гинзбург: «Современное сознание уже не воспринимает иллюзию объективного мира традиционной художественной прозы. Эту иллюзию до предельной осязаемости, до исчерпанности довел еще Толстой. Нам постыла тяжелая трехмерность, видимость второй действительности, средостением встающая между писателем и читателем». (Лидия Гинзбург: Записные книжки, воспоминания, эссе. СПб. 2002. Стр. 343 – 344). В той же записи 1989 года упоминается «Алеша Машевский», с которым эти вопросы очевидно обсуждались. Через девятнадцать лет (с таким чувством, какое бывает, когда кто-то нас вдруг окликает на улице, через четверть века после предыдущей с ним встречи) находим продолжение этих мыслей у самого Алексея Машевского.

9.

В сущности, мы подходим здесь к вопросу насущнейшему, к проблеме создания какой-то «новой» или «другой» прозы, преодолевающей «тяжелую трехмерность» традиционных «рассказов и романов», отказывающейся от, как пишет Алексей Машевский, «манной каши эпизодов с диалогами и ремарками вроде: «он сказал», «она подумала»». Только подходим или уже пытаемся войти внутрь? Иначе: ставит ли перед собой автор задачу создания такой прозы или все-таки нет? Отрывок, из которого я только что процитировал слова про манную кашу, начинается так: «Сейчас нужно писать не романы и рассказы, а записки о том, как и какие можно было бы написать романы и рассказы, причем это и будет роман, рассказ. Я сочинил бы книгу, состоящую из одних проектов с подробным их описанием. В сущности, это все, что требуется. Не заниматься же пережевыванием манной каши эпизодов... и т.д.» (стр. 17).

Сослагательное наклонение подсказывает ответ отрицательный. Сочинил – бы, значит – не сочиняю. Может быть – сочиню? Может быть – такая книга в будущем? И нам остается ждать ее от Алексея Машевского? Будем ждать.

10.

Это не афористическая мысль. Афористическая законченность приносится в жертву дальнейшему движению мысли. Ей не нужны промежуточные итоги. Или скажем так – она слишком хорошо сознает предварительность всех итогов и выводов, и потому не задерживается на них, перескакивает через них, оставляет их без внимания. Ей не до того, у нее нет времени, хотя она и не спешит никуда. Ей нужно – не спеша, но и не отвлекаясь – идти дальше, продолжать свое, однажды начатое, по природе своей нескончаемое движение.

11.

И это – не тщеславная мысль. Она не говорит: «Ап!», как фокусник, вынимающий кролика из кармана изумленного зрителя, не говорит: «Смотрите все, вот я какая ловкая, блестящая, неожиданная!» Ей, повторяю, не до того. Она тихо, медленно, упорно продвигается дальше, делает свое дело, пытается продумать – и еще раз

продумать себя же саму, додумать – или до чего-то, все же, до каких-то выводов и итогов додуматься.

12.

«Наши недостатки», говорил, если память не изменяет мне, Ларошфуко, «суть продолжение наших достоинств». Не афористическая и не тщеславная мысль не заботится о красоте, не смотрится в зеркало, выбирает для своего выражения какие-то, иногда, может быть, не самые окончательные слова. Алексей Машевский не боится к тому же «терминов», «ученых слов». «Коллективное сознание представляет собой мелкодисперсную среду, в которой господствует броуновское движение мнений» (стр. 49). Что за мелкодисперсная среда такая? Не знаю – и знать не хочу. Могу посмотреть в словаре – но не хочу быть вынужденным лезть в словарь. Язык, по моему глубокому убеждению, следует очищать от терминов, от наукообразия. Нет такой мысли, которая не могла бы быть высказана «естественным» языком – ставлю кавычки, поскольку прекрасно сознаю, разумеется, условность этой естественности. То, что естественно для человека читающего и думающего, может оказаться совсем не естественным для футбольных, как ныне принято выражаться, «фанатов». Все это вещи очевидные. И все же (еще раз): нет такой мысли, которая не могла бы быть высказана «просто и приятно для слуха», (условно) «естественным» языком, языком, иначе, общепринятым в интеллигентной среде. Наукообразие и специальные термины ничего, как правило, к мысли не добавляют, не проясняют, но затемняют ее.

13.

Если «ученичество» у Лидии Гинзбург возражений не вызывает, то второй «учитель» Алексея Машевского – Яков Друскин – сыграл с ним злую шутку. Пассажи, восходящие к Друскину, самые, пожалуй, проблематические в этой книге. Готов поверить Машевскому, что Яков Друскин был великий философ, но понять его не в состоянии. Это автор тяжелейший, темнейший, чтобы хоть как-то в нем разобраться нужны, очевидно, годы, десятилетия (что А. Машевский сам же и признает, говорит даже, в связи с его темнотой, о некоей «ошибке философа» - стр. 25). Но этих годов и десятилетий у меня, читателя, Друскиным специально не занимавшегося, нет. Я имею перед собой текст, отдельные фрагменты которого восходят к другому, затемняющему его, тексту. Получается как бы тайный код, непонятный непосвященному. «Формула существования по Друскину: *это есть это, которое есть это и то*. Замечательно. Здесь уже потенциально присутствует Одностороннее синтетическое тождество. В обобщенном виде фактически говорится: элемент мира есть мир элементов, который есть мир элементов и этот элемент мира» (стр. 67 – 68). Вы что-нибудь поняли? Лично я ничего. Я ничего бы и не имел против таких пассажей, если бы вся книга из них состояла. Я просто не стал бы читать ее, и дело с концом. Но я сталкиваюсь с этими пассажами в книге, интересующей меня в высшей степени, в книге, где на соседних страницах идет речь о Державине и Грибоедове, о Кузмине и Набокове, о сочинениях и авторах, доступных пониманию «литературного человека» и существенных для него, о вещах и проблемах, волнующих, вообще, интеллигентного мыслящего читателя. Может быть, не стоило оглушать этого читателя «Односторонним (с большой буквы) синтетическим тождеством» и окунать его с головой в «мир элементов, который есть элемент мира»?

14.

Эта книга могла бы быть не только значительной, но и прекрасной книгой, доставлять не только интеллектуальное, но и эстетическое удовольствие. В ней как бы намечена, но не вполне осуществлена такая возможность. Или, иначе: в ней есть фрагменты,

стилистически безупречные, прозрачно-точные, вообще – восхитительные. Но есть, увы, и другие. Впрочем, судить автора, как все мы знаем, нужно с точки зрения тех задач, которые он сам себе ставит.

15.

Тут же хочется возразить себе самому. Чем больше читаешь Машевского, чем внимательнее в его сочинение вчитываешься, тем сильнее становится, все же, и эстетическое, именно эстетическое, удовольствие, тобой получаемое. В конце концов, перестаешь замечать «мелкодисперсную среду» и какое-то «асимптотическое приближение к истине»(стр. 93). Мысль как бы совлекает с себя оболочку отчасти случайных слов, тяжелых терминов и вязких понятий, являясь тебе, читателю, в своей обнаженной красе. Или, опять иначе: Есть некая «музыка» в этой книге, «музыка мысли», конечно, живущая и звучащая, «поющая» по ту сторону слов.

16.

Поиски подлинности ведут, ясное дело, к конфликту со «временем» - подлинное всегда в конфликте со временем. Подлинное всегда «не из времени», «не от мира сего». Время – царство неподлинности. Это не значит, что все времена одинаковы и что конфликт подлинности со временем всегда разыгрывается на один и тот же манер, в одних и тех же терминах. Есть специфика времени, которую Машевский вновь и вновь пытается уловить, как бы особый род, или подвид, неподлинности, свойственный именно этому времени, нашему времени.

17.

Вот одна из его, времени, возможных характеристик: «Период упадка – это не «потенциальный минимум» собственно искусства, творческого начала у пишущих-сочиняющих. Это время, когда общество утрачивает интерес к происходящему, в том числе в культурной области, а главное, утрачивает способность отличать действительно талантливое от художественного трюкачества. И тогда настоящее просто «тонет» в мутных волнах рекламирующей себя посредственности» (стр. 307).

18.

Подлинность против «трюкачества». Разоблачением трюков, дутых репутаций, «фантомных авторов», придуманных «направлений», «течений», разнообразных «измов», «дискурсов» и «стратегий» Машевский, если и занимается, то как бы походя, между делом. Мысль, направленная на подлинность, мысль «в поисках реальности» оставляет трупы трюкачей валяться на обочине своей трудной дороги. Пусть мертвые хоронят себя сами.

19.

А между тем трюкачество торжествует. Достаточно зайти в любой европейский или американский «музей современного искусства», чтобы в этом с ужасом убедиться. Музы среди всех этих «инсталляций» отсутствуют. Музы рыдают у входа.

20.

Тем важнее – собиранье здоровых сил, духовное сопротивление. Эта книга, среди прочего, – опыт сопротивления времени, эпохе подмен, периоду упадка. Что само по себе, помимо других достоинств, уже делает ее явлением значительнейшим.

21.

«Ошибка постмодернизма, проистекающая из позитивистских его оснований, в том, что он играет в «мертвые», как ему кажется, кубики художественных систем прошлых веков, *мертвые* – то есть лишенные экзистенциального содержания. На самом же деле у Бога «все живы», ибо он есть Бог живых, а не мертвых» (стр. 37). Замечательно (как сказал бы сам автор). Ни убавить, ни прибавить. Мысль, нацеленная на подлинность, расправляется, еще раз, с трюкачеством походя, короткими «убийственными» аргументами: «У меня есть совершенно убийственный аргумент против свидетелей конца истории. До тех пор пока Пушкин остается *живым* явлением, он принципиально не дописан и нуждается в продолжении, он не исчерпан, он актуален и в своей актуальности потенциально плодоносен. Констатация «конца истории» в самом деле была бы констатацией полного угасания нашего интереса к каким-либо прошлым или нынешним культурным феноменам. Я понимаю, что кому-то скучно. Но это уж личные трудности скучающего» (18 – 20).

22.

Слово «мертвые» в первом и слово «живым» во втором отрывке не случайно выделены курсивом. Живое и мертвое – есть может быть главная тема двадцатого, теперь уже двадцать первого века. Борьба живого и мертвого – его, века, важнейшая, существеннейшая борьба. Мертвое и живое всегда, конечно, борются между собой, но именно в двадцатом столетии с его тенденцией к отмене человека, к подмене живой жизни конструкцией и схемой, борьба эта приобрела такую остроту и насущность. «Постмодернизм» есть лишь одно из, хотя и одно из самых выразительных, проявлений мертвого, мертвящего, человекоубийственного начала. Поэтому никакой компромисс с ним невозможен. Здесь действуют силы демонические, богомерзкие.

23.

Между прочим: мертвое почти всегда выразительней, резче, больше, громче живого. Рядом с мертвым живое тушется, мертвое затмевает живое, забивает, задвигает в сторону, в тень, в незначительность. Никакое дерево, самое прекрасное, не выдержит сравнения с небоскребом. Небоскреб – он вон какой огромный, до облаков, а дерево... ну что дерево? что мы, деревьев не видали? А между тем дерево – это чудо, а небоскреб всего лишь – конструкция. Дерево – «явление Божества», а небоскреб – злоупотребление стеклом и бетоном, «пустячок пирамид». Вот и думай, вот и выбирай.

24.

Алексей Машевский не зря пишет о «мужественном и взрослом сознании» (стр. 222). Его книга – пример и проявление именно такового, посреди обступающего нас со всех сторон подросткового недомыслия. Впрочем, взрослых людей на земле всегда немного. Им не легко приходится. Вечным подростком быть легче.

25.

Простой критикой современных разновидностей неподлинности, новейших фантомов и трюков, автор, конечно, не ограничивается. Он ищет истоки, корни, причины. Здесь скрыта, впрочем, некая опасность. Есть простейшая (читай: примитивная) мыслительная фигура, называемая «Потерянный рай, или Грехопадение». Когда-то было хорошо, а потом стало плохо. Когда-то были замечательные Средние века, в них была «соборность», жизнь имела общезначимый смысл и т.д. и т.д. А потом все стало развиваться неправильно, пошло наперекосяк, свернуло не в ту сторону и вот докатилось, значит, до того, до чего докатилось. Возможны варианты (например, славянофильский: замечательная, якобы, Московская Русь, затем – грехопадение

Петровских реформ и т.д.), хотя этот, кажется, самый распространенный. Средневековье при этом идеализируется напрополую (первыми, как известно, это начали делать романтики – у которых славянофилы, в свою очередь, и учились). Машевский прекрасно сознает как иллюзорность этого, якобы, прекрасного Средневековья (стр. 50), так и, очевидно, примитивность этой, якобы, все объясняющей схемы.

26.

А если так, если эта схема «не работает», и Средневековье идеализировать незачем, то «второе грехопадение Адама» (как называется одна из включенных в книгу статей), переход от «досекуляризованного» к «секулярному» обществу, от «коллективного» к «индивидуалистическому» сознанию предстает как некий неизбежный этап на пути развития цивилизации. «История человечества – это история углубления рефлексии, по природе своей амбивалентной. С одной стороны, рефлексия способствует усугублению человеческой греховности, с другой – открыванию глаз, осознанию богосыновности. Вот так и идут рука об руку богосыновность с богоотставленностью. И где предел?» (стр. 197). Трудно не согласиться с этим. Замечательно здесь еще то, что очевидная «диалектичность» этой мысли не соблазняет автора ни на какие гегелевские триады, типа: коллективизм – тезис, индивидуализм – антитезис, а где-то там, в сияющей перспективе – некий, значит, синтез. Мысль Машевского не утопична, никаких «решений» и «перспектив» она читателю не предлагает. В чем можно видеть одно из ее, этой мысли, достоинств, ее «мужественность» и «взрослость».

27.

Тут же, однако, он как будто забывает о неотвратимости «усугубления рефлексии» – и начинает критиковать «современную цивилизацию» и «индивидуалистическое сознание» без всяких оговорок, так что они из неизбежного этапа превращаются – или вроде как превращаются – в отклонение от некоего – где он? кто его видел? – правильного пути.

28.

«Нынешняя гуманистическая цивилизация античеловечна» (стр. 195). Не слишком ли решительное заявление? Возможно ли с ним согласиться? Что, были цивилизации более «человечные»? Сомневаюсь.

29.

Это ощущение античеловечности «нынешней цивилизации» не есть ли ощущение человека, живущего в России? Что, если это некое состояние души, *Befindlichkeit*, говоря по-немецки и по-хайдеггериански, которое выражает себя в этом чувстве антигуманности мира. «Мир так враждебен каждому, потому что человек не может в нем быть самим собой...» (стр. 74). Грустно писать об этом, но боюсь, что мир именно в России «так враждебен каждому», что кажется – задохнешься. Дело не в «мире», дело, увы, в России.

30.

Прекрасно понимаю, конечно, что Алексей Машевский со мной не согласится. Он мыслит категориями глобальными, историческими, временными, а не пространственными. В конце концов, я и сам не настаиваю на этом, если угодно, «диагнозе». Это все вопросы – и только вопросы. Никаких ответов я не предлагаю – даже не подсказываю – я только задаю вопросы, более ничего.

31.

Между тем, эта критика антигуманного, якобы, гуманизма сама по себе прекрасно вписывается именно в русскую традицию критики западной цивилизации, критики, условно говоря, Просвещения. Россия ведь так и не приняла Просвещения. «Нам Просвещение не пристало...». Еще Бердяев говорил, что в России Просвещения не было, но была его замечательная критика. Такая ли уж она замечательная? Сомневаюсь, опять-таки. Предпочел бы Просвещение.

32.

Позволю себе повторить последнюю фразу, чтобы уж до конца высказаться. Предпочел бы Просвещение. Что оно в России когда-нибудь настанет – не верю. Потому и пишу это в Мюнхене.

33.

Вот еще вещи, с которыми согласиться не могу – не потому даже, что придерживаюсь другого какого-то мнения, а просто потому, что долгий опыт жизни «на Западе» избавляет от некоторых, для России типичных, заблуждений. «Феномен нынешней политической ситуации в том», пишет Алексей Машевский – и очевидно с осуждением, «что наш человек хочет и рынка, и прочных социальных гарантий, и свободы, и обеспеченной властью безопасности, традиционно склоняясь к последнему» (стр. 101). «Наш человек» здесь совершенно не при чем – или, если угодно, «наши люди» повсюду. Все хотят одновременно и рынка, и социальных гарантий, и свободы, и безопасности, ничего специфически русского здесь нет. Сложившаяся в Германии, например, после Второй мировой система официально именуется «социальной рыночной экономикой», *soziale Marktwirtschaft*, и является, в общем, предметом заслуженной гордости немецкого народа. В основе ее лежит идея солидарности – богатых с бедными, сильных со слабыми. Почему, в конце концов, мы здесь (здесь – «на Западе») платим налоги? Не потому, что «государство» отбирает у нас деньги на какие-то свои нужды – такого отдельного от общества, по своим собственным законам живущего «государства» здесь, слава Богу, вообще нет – но потому что общество построено на принципе солидарности и взаимной ответственности граждан, богатые делятся с бедными, да просто те, у кого есть работа, делятся с теми, у кого ее нет. Что при этом полно недовольных, понятно. Что большинство людей пытаются заплатить как можно меньше налогов, это в природе вещей, вернее, в природе человека. Но принцип социальной рыночной экономики все-таки, несмотря на все ограничения и сокращения последнего десятилетия, работает, отменять его никто не собирается. Это принцип, в основе своей христианский? Если угодно, да. Вообще, русский миф о безрелигиозном Западе и какой-то, якобы, особой русской духовности – один из самых вздорных и вредных русских мифов... впрочем, это уже другая тема. Тем более, что ни о какой русской духовности Машевский, слава Богу, не рассуждает. Он рассуждает, скорее, об утрате духовности, и в России, и за ее пределами.

34.

Эта мысль, или эти мысли, проходят сквозь всю книгу – но книга отнюдь к ним не сводится. В каковой несводимости можно видеть одно из ее главных достоинств. Наша мысль разнообразна, она мыслит о разном и по-разному. Такова же и книга Алексея Машевского. Есть замечательные пассажи, существующие как бы сами по себе, вне видимой связи с «целым» (которое они на самом деле и образуют). Говорить о таких пассажах бессмысленно, их нужно просто читать.

35.

Мысль Машевского – теологична. Не знаю, в каком порядке расположены эти записи, хронологическом или нет, даты отсутствуют. Но трудно избавиться от ощущения, что с течением времени мысль автора все неустанно обращается к «последним вопросам», к тому, что Томас Манн называл «заботой о Боге». «В молитве, обращаясь к Богу, я на самом деле не его молю, а себя умоляю «раскрыться», я настраиваю себя на то, чтобы довериться его воле. И молитва нужна мне – не Ему. Что же нужно Ему? Быть может, просто чтобы я был счастлив? Вот самый хитрый и неустранимый грех – чувствовать себя несчастным» (стр. 72 – 73). Постараюсь запомнить это – не «умом» запомнить, но «сердцем».

36.

Вот еще цитата, которую трудно не выписать: «В оде «На смерть князя Мещерского» Державин пишет об обреченности всех, о гибельности всего в этом мире, но пишет так, что невозможно поверить, что и такие стихи забудутся. ... Здесь работает не логика, а непосредственное свидетельство эстетического чувства, вне всякой очевидности усматривающего в творении человека искру Божества, а значит, символ, след прорыва к высшему, когда грех разделения преодолен, вина прощена и Истина снова пришла к нам во плоти как Слово». (стр. 9 – 10).

37.

На этом мы и закончим. С чувством благодарности автору.